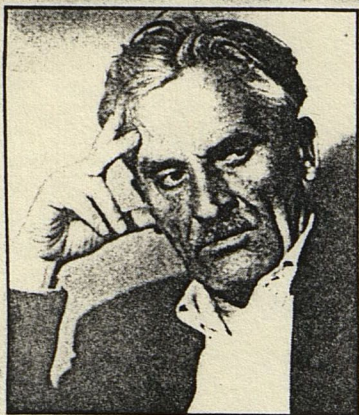




Уже известные читателям по книге «Ни дня без строчки» записи, дополненные теми, что никогда до этого не публиковались, составили «Книгу прощания» (серия «Мой XX век» издательства «Вагриус») — самую откровенную, самую грустную и самую мудрую книгу, которую Юрий Олеша писал всю свою жизнь.
3 марта мы отметили 100-летие писателя.

ОЛЕША: КНИГА ПРОЩАНИЯ

У Бунина почти все рассказы парижской эпохи написаны на сюжет, сводящийся к тому, что мужчина стремится обладать женщиной, которая чаще всего отказывает ему, — тогда он стреляет или в женщину, или в себя.

В каждом рассказе подробное описание женского тела, белья, чулок. Описано, разумеется, очень хорошо, очень художественно, тем не менее это не спасает от порнографии. Бунин, оказалось, самый порнографический писатель из русских, даже не так надо сказать: не самый порнографический, а единственный порнографический (Арцыбашевых и прочих нельзя считать, так как они вне литературы).

Вчера у самовлюбленного туркмена. Министр культуры. Думал, что я переводчик. Переведу ли я его роман? Ехать туда. «У меня дача в Фирюзе, будете жить в семье». Как представил себя живущим в этой туркменской семье, в жару, не таким уж молодым — в то время как, скажем, Тихонов представляется президенту Индонезии, — стало уныло. Пусть этот министр поцелует меня в задницу.

На старости лет я открыл лавку метафор... Я предполагал, что разбо-

гатею на моих метафорах. Однако покупатели не покупали дорогих; главным образом покупались метафоры «бледный, как смерть» или «томительно шло время», а такие образы, как «стройная, как тополь», прямо-таки расхватывались. Но это был дешевый товар и я даже не сводил концов с концами. Когда я заметил, что уже сам прибегаю к таким выражениям, как «сводить концы с концами», я решил закрыть лавку. В один прекрасный день я ее и закрыл.

Я так опустил, что мне ничего не стоило, подойдя к любому знакомому на улице, попросить у него три рубля, которых было достаточно, чтобы выпить, скажем, в забегаловке пива.

Надо заметить, что я просил без какой-нибудь наглости. Наоборот, я старался быть простым, скромным. Это мне удавалось по природному актерству. Я был даже изысканно простым. Давши десятку, знакомый быстро уходил. Я видел, как он поправляет головной убор, утверждает более крепко портфель под мышкой, — я понимал, что этому человеку неловко.

И я остановился на одном морозном дне, когда я подошел к одному из

таких знакомых. Это был известный режиссер, осатаневший от успеха своей деятельности, не стоящей гроша ломаного и возникшей в результате проявленного им умения втирать очки, подлец, да просто столб, я бы сказал, столб в шубе. Если говорить художественно, то передо мной стоял столб в шубе, лица которого я даже не различал. Прекрасная шуба с расшевеленным ветром красивым меховым воротником.

— Дайте мне три рубля, — сказал я.

— Боже мой! Может быть, вам десятку?

— О, это прекрасно! — воскликнул я, уже повторяя себя, уже научившийся всяким присмам по части этого попрошайничества у знакомых. — А это не ударит вас по бюджету?

— Ну, что вы, Юрий Карлович!

Он снял перчатку и вынул руку за борт шубы. Там, в боковом кармане, как оказалось, стояли пачкой новые десятки. Он отделил одну из пачки, и она протянулась ко мне, твердая и как бы даже звенящая в морозном воздухе.

— Спасибо! Я вам отдам! Я скоро буду богат! Очень богат!

И я сказал ему то, что говорил всем, у кого брал деньги, — что пишу замечательную пьесу, которая скоро

будет готова и тогда...

— Пора, Юрий Карлович, пора, — сказал он. Это был известный театральный режиссер, знатный человек, лауреат Сталинской премии, награжденный званиями и орденами.

Разумеется, он не верил, что я пишу пьесу; вернее, в этом смысле я не представлял для него интереса. Его интересовало, что я опустил, прошу деньги. Он, хотя я стоял лицом к нему, увидел бахрому на моих штанах...

Уходя от него, я оглянулся и увидел, что он стоит и смотрит мне вслед. Я помахал ему рукой, он кивнул мне. По всей вероятности, он думал о том, что вот, мол, бывает с человеком — известный, смотрите, писатель, а вот спился, побирается. Я заметил, что он кивнул мне не просто приветственно, а с каким-то оттенком, я бы сказал, назидательности: хорошо, я тебе кивну, но что из того, ты пойдешь и напьешься.

Я еще раз оглянулся, он шел, унося длинную под волнами коричневого сукна спину.

Я могу писать каждый день, строк по сто, по крайней мере. Имеет ли это ценность? Что это — то, что я пишу? Имеет ли это ценность вос-

поминаний — то есть картин нравов и событий данной эпохи? Или ценность эстетическую? Языковую? Или ценность стихотворений? А если это просто замена курения? Если это просто груда окурков? Что, если это так? Я пишу, думаю, что передо мной книга, а это просто окурки — просто картонные, противно-коричневые трубочки, шепотки папиросной бумаги, пепел!

Я стал писать хуже. Талант исчезает, да и не было его, как не было ничего, кроме стука Ваших каблукочков, лунный свет!

Эдгар По сказал, что в лоне первой фразы лежит и весь рассказ.

Я совсем не умею писать рассказы. А что я умею писать?

«Ужас и рок во все времена блуждали по земле, так что нет необходимости называть место и время действия нашего рассказа». Так начинается «Метценгерштейн».

«Мне не хочется грязнить лежащий передо мной чистый лист своим именем». Так начинается, кажется, «Рукопись, найденная в бутылке».

Я ничего не умею писать, главное — не хочу. А что я хочу? Идти в закат.